

Первый Кош
Петербургa

Лара Вейн

Лара Вейн

Первый кот Петербурга

<https://litres.ru/74575827>

SelfPub; 2026

Аннотация

Кто сказал, что кот это просто кот? Кот может хранить еще больше тайн чем город, в котором он живет особенно если ему уже больше трехсот лет. Кот который не просто был свидетелем истории города но и творил ее своими лапами.

Содержание

Пролог	4
Глава 1. Девушка подфонарём	21
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Лара Вейн

Первый кот Петербурга

Пролог

Роман является художественным произведением. Исторические лица и события изображены в нём в вымышленных обстоятельствах; диалоги и частная жизнь исторических персонажей — плод авторского воображения. Все современные персонажи вымышлены, любые совпадения случайны.

Заячий остров, май 1703 года

Говорят, над этим островом в тот день парил орёл. Говорят, государь увидел его, вырезал багинетом два куска дёрна, сложил их крестом и сказал: «Здесь быть городу».

Орёл был. Я его видел — тощий, облезлый, с одним кривым пером в хвосте, он кружил над болотом и высматривал лягушек. Дёрн государь тоже резал, это правда. И слова сказал.

Только идея была моя.

* * *

Остров тогда назывался по-фински — Енисаари, Заячий. Зайцев на нём, кстати, не водилось, я проверял. Водились комары размером с воробья, лягушки, ужи, чайки и холодный ветер с залива, который пробирал до самого подшёрст-

ка. Под ногами чавкал мох. Нева текла вокруг — широкая, серая, сильная, с белыми барашками на стремнине, — и пахла так, как больше ни одна река на свете не пахнет: талым снегом, торфом, далёкой солью и будущим.

Я сидел на коряге у самой воды и вылизывал лапу. Шёл мне тогда седьмой год — по кошачьим меркам возраст серьёзный, по моим — младенческий. Я ещё не знал, сколько мне отмерено. Думал, как всем котам — лет пятнадцать, если повезёт.

Государь стоял рядом, по щиколотку в грязи, и смотрел на тот берег, где чернели обгорелые брёвна Ниеншанца. Шведскую крепость взяли две недели назад, первого мая. Комендант её, старый упрямый швед с длинным носом, сдался после того, как наши мортиры всю ночь кидали бомбы через Охту. Шведов отпустили с честью, с барабанным боем и пулей во рту — так тогда полагалось. А в крепость вошли наши.

Только вот казны в ней не нашли.

— Мур, — сказал государь, не оборачиваясь. — Ты чужёшь?

Голос у него был хриплый, простуженный — он третий день ходил в мокрых ботфортах и не желал переобуться. Ростом он был такой, что я, сидя на коряге, доставал ему едва до колена. Лицо круглое, усы торчком, глаза навывкате — тёмные, быстрые, страшные, когда он гневался, и мальчишеские, когда радовался. Сейчас они были мальчишеские.

Я перестал вылизываться и посмотрел на него.

Да, я чувал.

Чувал с той минуты, как наша лодка ткнулась в этот берег. Сквозь торф, сквозь мох, сквозь болотную воду, на глубине в два человеческих роста, — металл. Много металла. Холодный, тяжёлый, сонный. Серебро и золото, сваленные в кучу, в окованных железом сундуках, — я чувал даже ржавчину на оковках. И страх. Страх людей, которые его здесь закапывали. Свежий, месячной давности.

«Мр-р... чую, государь, — сказал я. — Мур-р. Там, мрр, под кривой сосной. Шагов сорок от воды. Глубоко, мур».

Он слышал меня. Всегда слышал, с того самого обеда на верфи в Саардаме, когда я, котёнок из ящика под верстаком, сказал ему первые в своей жизни слова. Он тогда поперхнулся пивом.

С тех пор мы так и разговаривали. Он — вслух, я — так, как говорим мы, коты: не горлом, а прямо в затылок тому, кто способен слышать. Таких на свете мало. Очень мало. Я тогда ещё не знал, насколько.

* * *

Государь присел передо мной на корточки, и ботфорты его глубже ушли в грязь.

— Шведская казна, — сказал он тихо. — Жалованье гарнизону. И купеческое серебро из Ниена — они всё свезли в крепость, когда мы подошли. Я пленных спрашивал. Комендант казну прятать велел ещё в апреле, когда лёд сошёл. Ночью. На лодках. А куда — никто не знает. Те, кто прятал, —

утонули на обратном пути. Или так говорят.

Он помолчал.

— Сколько там, Мур?

«Мр-р... много, государь. Мур-р. Очень много. Сундуков, мрр, пять. Может, шесть».

Государь присвистнул. Посмотрел на кривую сосну — она росла на самом высоком месте острова, если это можно было назвать высотой: бугор над болотом в человеческий рост.

— Шесть сундуков, — повторил он. — Шведского серебра. Мне, Мур, на войну нужно. На флот. На пушки. Карл придёт — ему моё серебро поперёк горла встанет. — Он засмеялся коротко. — Шведским же серебром шведов и побьём.

Потом лицо его потемнело.

— Только как достать? Тут сорок шагов до воды, весь берег на виду. Шереметев, Меншиков, генералы, солдаты, иноземцы мои — кто из них не продаст? Начну копать — к вечеру вся армия будет знать, что царь клад ищет. К утру — Карл узнает. А через неделю половина сундуков пропадёт, будто их и не было. — Он сплюнул в воду. — Знаю я своих. Вор на воре.

Я посмотрел на него. На его мокрые ботфорты, на торфяную грязь, на нетерпеливые руки, которые не умели лежать спокойно. Потом — на остров. Плоский, болотистый, окружённый широкой водой со всех сторон. Удобный. Ох, какой удобный.

И сказал то, что сказал.

«Мур-р... А ты, государь, мрр, не клад ищи. Ты, мур, крепость строй».

Он моргнул.

— Чего?

«Крепость, мрр. Прямо здесь. Мур-р... Остров, гляди, — со всех сторон вода. Шведам, мрр, отсюда по реке не пройти. Место, мур, крепкое. А крепости, мрр, нужны что? Рвы. Валы. Бастионы. Мур-р... Копать, государь, придётся много. Глубоко. Везде. И никто, мрр, не спросит, зачем ты под кривой сосной роешь. Скажешь — под бастион. Мур».

Государь смотрел на меня долго, не мигая. Потом медленно выпрямился во весь свой невозможный рост, обвёл глазами остров, реку, тот берег с чёрными брёвнами, залив, уходящий в серую мглу.

И захохотал.

Он хохотал так, что с кривой сосны снялась ворона. Он хохотал, запрокинув голову, держась за бока, и мокрые ботфорты его хлюпали в грязи. Подбежал денщик — государь отмахнулся. Подбежал Меншиков, Алексашка, в кафтане с позументом, с вечной своей хитрой улыбкой, — государь и от него отмахнулся.

— Крепость, — проговорил он наконец, вытирая слёзы рукавом. — Крепость, Мур! Ах ты, шельма голландская. Ах ты, хитрая морда. Крепость! — Он наклонился и подхватил меня на руки, прижал к мокрому кафтану. — А при крепости

— гавань. А при гавани — верфь. А при верфи — город. Мур! Ты понимаешь, что ты сказал?

Я понимал. Я тогда сказал про крепость, чтобы спрятать раскопки. Про город я не думал.

А он — уже думал.

Я видел это по его глазам: они вдруг стали далёкими, будто смотрели не на болото, а сквозь него — на что-то, чего ещё не было. На каменные набережные. На шпили. На мачты. На мосты, перекинутае через эту серую широкую воду. На дворцы с колоннами вдоль реки. Он видел это так ясно, будто просто вспоминал.

Я тоже увидел. Не глазами — через него, через стук его сердца — быстрый, горячий, нетерпеливый.

И мне стало страшно. Первый раз в жизни. Не за себя — за него. Потому что я понял: этот человек сейчас построит здесь город. Просто потому, что кот подсказал ему, как спрятать лопату.

* * *

Через два дня, шестнадцатого мая, на острове заложили крепость.

Был молебен, был салют, были речи. Был и орёл — тот самый, тощий и кривохвостый. Потом летописцы сделают из него знамение. Государь вырезал багинетом дёрн, сложил крестом и сказал: «Здесь быть городу». Все закричали «виват». Шереметев прослезился. Меншиков подсчитывал в уме, сколько можно украсть на подрядах.

Я сидел у государя на плече и смотрел на кривую сосну.

Через неделю её срубили. На её месте стали рыть — для всех будто под фундамент бастиона. Бастион потом поставили левее, у самой воды, — тот, что назовут Государевым. А на месте сосны встал Петропавловский собор. Землю вынимали солдаты и пленные шведы, по ночам — только солдаты Преображенского полка, самые верные, и только под присмотром Алексашки. Алексашку пришлось посвятить: без него не обойтись, а вор он был свой, проверенный. «Мрр... вор, — сказал я про него государю. — Мур-р. Но свой вор». Государь хмыкнул и согласился.

Первый сундук достали в июне, в белую ночь. Я сидел на краю ямы и смотрел, как его вытаскивают на верёвках — тяжёлый, чёрный от торфа, с ржавыми оковками. Государь сам сбил замок ударом топора. Крышка откинулась.

Серебро. Талеры, ригсдалеры, слитки, посуда, оклады с икон, которые шведские купцы, видно, награбили когда-то у наших же новгородцев. И золото — немного, на самом дне, в кожаном мешке. И тот самый страх — въевшийся в каждую монету, страх людей, которые закапывали это ночью.

Государь зачерпнул пригоршню монет и пересыпал из ладони в ладонь. Серебро звенело в белой ночи тонко и холодно.

— Мур, — сказал он тихо. — Это всё на город пойдёт. Не на войну — на город. Слышишь?

Я слышал. Но тогда ещё не знал, как именно.

Это я узнал через восемнадцать лет.

* * *

Петербург, ноябрь 1993 года

Она умирала тихо, как делала всё в жизни.

Без жалоб, без суеты, без «позовите врача». Лежала в своей кровати у окна на Фонтанке, под пуховым одеялом, и смотрела на воду. На воду и на чугунную решётку набережной, по которой шёл мокрый снег. Ноябрь в тот год выдался тёмным и злым: свет давали по расписанию, в булочной на углу хлеб кончался к обеду, по телевизору стреляли из танков в Москве, а на Сенной продавали всё — от ворованных телевизоров до орденов, снятых с покойников. Город, который я помнил молодым, лежал больной и измученный, как старик, которого бросили дети.

Надежда Владимировна умирала в нём, как умирают в осаждённой крепости. С прямой спиной.

Ей шёл девяносто третий год.

Я лежал у неё в ногах, на одеяле, и слушал, как бьётся её сердце. Медленно. Всё медленнее. С длинными паузами, в которых я каждый раз переставал дышать сам — и ждал. А потом оно снова стучало, неохотно, будто нехотя возвращалось к работе, и я снова начинал дышать.

В комнате пахло лавандой — она всегда держала в шкафу мешочки с лавандой, ещё с тех времён, когда лаванду в этом городе не мог достать никто. Пахло старой бумагой — книгами на трёх языках, письмами, перевязанными выцветши-

ми лентами. Лекарствами. Остывшим чаем в чашке тонкого фарфора на тумбочке — чашке с золотым ободком, единственной уцелевшей из сервиза, который она пронесла через всю жизнь. И ещё — едва уловимо, сквозь всё это — сдобой и молоком. Так пахла она сама, всегда, сколько я её знал. Этот запах я узнал бы на краю света.

Я однажды и узнал. Но об этом позже.

— Мур, — сказала она.

Голос был слабым, почти прозрачным. Но французское «р» она по-прежнему грассировала — чуть-чуть, едва заметно, как грассировали в той жизни, о которой она никогда никому не рассказывала. Даже сыну.

«Мр-р... я здесь, мур», — сказал я.

Она улыбнулась. Не открывая глаз.

— Знаю. Ты всегда здесь.

Рука её — сухая, лёгкая, в голубых венах и коричневых пятнышках — выползла из-под одеяла и нашла мою голову. Почесала за ухом. Медленно, с усилием, как будто каждое движение пальцев стоило ей года жизни.

— Помнишь... — сказала она и замолчала. Долго молчала. Я ждал. — Помнишь сирень? Белую. В парке. Под окнами. Мы с сёстрами... ломали ветки. И мама сердилась. А потом сама ставила в вазу.

«Мур-р... помню», — сказал я.

Я помнил. Я всё помнил. Белая сирень под окнами дворца, четыре девочки в белых платьях, мальчик с бледным ли-

цом, которому нельзя было бегать, отец в простой гимнастёрке с полковничьими погонами, который курил на балконе и смеялся над чем-то в газете. Я помнил всё это так ясно, будто это было вчера, а не восемьдесят лет назад.

Но об этом мы с ней не говорили. Никогда. Ни разу за семьдесят пять лет. Даже вдвоём, даже шёпотом, даже в самую страшную блокадную ночь, когда мы лежали под тремя одеялами в ледяной комнате и она думала, что до утра не доживёт.

Она сказала «сирень» — и я сказал «помню». Больше было нельзя.

* * *

За стеной, в кухне, звякнула посуда. Хлопнула дверца холодильника. Сын.

Алексей Петрович приехал вчера вечером, когда соседка, Римма Аркадьевна из третьей квартиры, позвонила ему на работу и сказала: «Алёша, приезжайте. Мама совсем плоха». Он приехал — грузный, усталый, сорокасемилетний, в дешёвой кожаной куртке, с портфелем, в котором лежали какие-то накладные. Он был инженером на заводе, который в тот год не платил зарплату. По вечерам он «бомбил» на своих «Жигулях» — подвозил кого придётся за мятые рубли. У него было двое детей, жена с вечно поджатыми губами, однокомнатная квартира в Купчино и долг за телефон.

Хороший он был человек. Честный, работающий, не пьющий. Мать любил — по-своему, по-сыновьи, неловко, гру-

бовато, раз в месяц по воскресеньям, с тортом «Ленинградский» и банкой огурцов от жены.

Но он не слышал.

Ни разу за сорок семь лет. Ни единого «мур». Я пробовал — когда он был младенцем и спал в плетёной корзинке у печки, когда он был мальчишкой и таскал меня за хвост, когда он стал подростком и приводил домой девочек, когда он женился, когда у него родились дети. Я пробовал снова и снова, тем самым внутренним голосом, который слышали его мать и его прадед, и прапрадед, и все, все до самого Петра.

Для него я был кот. Старый, лохматый, серый мамин кот, который почему-то не умирал.

«Сколько ему лет, мам? — спросил он однажды, году в восьмидесятом. — Он же у тебя был, когда я ещё в школу не ходил. Коты столько не живут».

«Этот живёт», — ответила она.

Он пожал плечами и больше не спрашивал. Он вообще мало о чём спрашивал. Это было удобно. И это было страшно — потому что всё, что она могла бы ему рассказать, уходило вместе с ней.

* * *

— Мур, — сказала она снова. Совсем тихо.

Я подполз ближе, к самому её лицу. Положил голову на подушку рядом с её щекой.

— Послушай меня. — Глаза её открылись. Серо-голубые,

выцветшие от времени, но — ясные. Те самые глаза. — Алёша тебя не возьмёт. Я знаю. Не обижайся на него.

«Мр-р... не обижусь, мур».

— Обидишься. — Она чуть улыбнулась. — Ты гордый. Как... — Она запнулась. — Как все мы.

Пауза. Долгая. Сердце стукнуло — и замолчало. И снова стукнуло.

— Найди... — сказала она. — Найди нашу кровь, Мур. Я замер.

— Она есть. Где-то. Не только Алёша. — Губы её едва шевелились. — Ты же знаешь... как это было у нас. У всех. Не все дети... рождались во дворцах. Кто-то — в людских. В мастерских. В казармах. — Пауза. — Найди. Того, кто услышит. Не оставайся... один.

«Мур-р... Наденька, мрр...»

— Обещай.

«Обещаю, мур-р».

Она закрыла глаза. Рука на моей голове стала тяжёлой.

— Сирень, — сказала она. Еле слышно. — Белая.

Больше она ничего не сказала.

Сердце стукнуло ещё два раза. Потом пауза. Потом ещё раз — совсем тихо, как будто кто-то осторожно постучал в дверь, проверяя, есть ли кто дома. Потом пауза стала длинной. Очень длинной.

Я ждал.

Я ждал, пока не стало ясно, что ждать больше нечего. Пока

её щека под моим ухом не начала остывать. Пока за окном не зажёгся фонарь на набережной и не лёг на потолок жёлтым пятном.

Потом я встал, прошёл по одеялу и сел у неё на груди, там, где больше не стучало. И запел.

Коты не плачут. Мы поём. Низко, долго, на одной ноте, которую люди принимают за мурлыканье. Это не мурлыканье. Это песня, которую я пел над Петром в ту ночь, когда он умирал в своём Зимнем дворце, простуженный, распухший, кричавший от боли. И над Елизаветой. И над многими после них. Я пел её и над теми, над кем петь не мог, потому что меня не было рядом, — пел потом, позже, в пустых комнатах, глядя в стену.

Теперь я пел её над Надеждой.

Сын вошёл, когда я допевал. Он остановился в дверях с чашкой чая в руке. Посмотрел на мать. На меня. На мать.

Чашка выпала у него из пальцев и разбилась о паркет.

* * *

Потом были люди. Врач со скорой, равнодушный и смертельно усталый, — в тот год в городе умирали много и часто, и он уже не находил слов. Участковый. Римма Аркадьевна из третьей квартиры, в бигуди и халате, с корвалолом. Какие-то бумажки, подписи, телефонные звонки. Жена Алексея Петровича приехала к полуночи — маленькая, остроносая, в мохеровом шарфе, — и сразу пошла по комнатам, открывая шкафы.

Я сидел на подоконнике, за занавеской, и смотрел, как они ходят по её комнате. Трогают её вещи. Её книги. Её письма. Её чашку с золотым ободком, которую жена сына повертела в руках, посмотрела на клеймо на донышке, хмыкнула и поставила в коробку с надписью «на продажу».

Я молчал.

К утру они устали. Жена ушла спать в соседнюю комнату, а Алексей Петрович сел на кухне, у окна, с бутылкой водки и стаканом. Он не пил. Просто сидел, держал стакан в руке и смотрел в окно, на мокрый снег над Фонтанкой.

Я пришёл к нему. Сел у его ног. Посмотрел снизу вверх.

«Алёша, — сказал я. Тихо. Тем самым голосом. — Мурр... Алёша. Ты меня слышишь? Мурр... Твоя мать... мур... она была...»

Он не слышал.

Он посмотрел на меня — долго, тяжело, красными от бессонницы глазами. Я ждал. Мне казалось — сейчас он услышит. В эту ночь, когда она ушла, когда что-то в нём должно было открыться, распахнуться, как дверь от сквозняка...

— Ну что ты смотришь, — сказал он устало. — Что ты на меня смотришь.

«Мурр... Алёша...»

— Мать тебя любила. Знаю. — Он поставил стакан на стол. — А мне куда тебя? У Лены аллергия. Однушка. Двое детей. Ты старый, ты больной, ты линяешь. От тебя шерсть по всей квартире будет. — Он потёр лицо ладонями. — От-

везу тебя завтра к Римме Аркадьевне. Или на дачу к тётке. Там мышей ловить будешь. Или...

Из соседней комнаты донёсся голос его жены — сонный, раздражённый:

— Алёша, ну что ты с ним разговариваешь? Выкинь его на лестницу, и всё. Сам найдёт, где жить. Блохастый комок шерсти, господи. Вся квартира котом провоняла.

Алексей Петрович помолчал.

— Блохастый комок шерсти, — повторил он устало. Не зло — просто повторил, как повторяют слова, на которые нет сил возражать. — Да. Ну да.

И отвернулся к окну.

* * *

Я не стал ждать.

Ни утра, ни Риммы Аркадьевны, ни дачи тётки, ни лестницы. Я — кот, который сидел на коленях у Петра Великого. Который лежал у ног Елизаветы в Петергофе. Которого гладила по голове Екатерина, сочиняя письма Вольтеру. Который спал в постели у маленькой великой княжны в Царском Селе и ехал с ней в корзинке в Тобольск. Который пережил с Надеждой девятьсот дней Блокады и ни разу — ни разу — не дал ей себя съесть, хотя она, умирая с голоду, однажды ночью взяла нож и долго сидела с ним над моей корзинкой. А потом положила нож и заплакала.

Меня не выкидывают на лестницу. Я ухожу сам.

Я спрыгнул с подоконника. Прошёл через комнату — ми-

мо её кровати, где под простынёй лежало то, что больше не было ею. Мимо коробки «на продажу», где поверх книг лежала её чашка с золотым ободком. Я остановился на секунду. Посмотрел на чашку.

Нет. Ничего не возмёшь. Кот ничего не уносит. Всё, что ему нужно, он уносит в себе.

Я прошёл в прихожую. Входная дверь была приоткрыта — жена сына выставила на лестницу пакеты с мусором и не закрыла. Я протиснулся в щель.

Лестница. Знакомые ступени, по которым я поднимался и спускался шестьдесят лет. Запах кислых щей и табака из квартиры этажом ниже. Холодная батарея на площадке, где я любил сидеть летом. Почтовые ящики. Тяжёлая дверь парадной, обитая войлоком.

Я постоял перед ней. Ждал — сам не знаю чего. Что кто-то выйдет следом. Что он выйдет. Позовёт. Скажет: «Мур, куда ты, вернись, я пошутил, я тебя возьму».

Никто не вышел.

Дверь парадной открылась — входил жилец с первого этажа, с собакой, — и я выскользнул на улицу, в ноябрьскую ночь, в мокрый снег, на чугунную решётку Фонтанки.

Я не оглянулся. Оглядываться — значит признать, что уходишь навсегда. А я и так это знал.

* * *

Тридцать три года.

Тридцать три года я бродил по этому городу, который сам

когда-то придумал. Ел у мусорных баков и у тёплых ларьков с шавермой. Спал в подвалах, на чердаках, в подъездах, на тёплых решётках метро. Меня подкармливали — сторожа, дворники, продавщицы, старушки, студенты. Кто-то брал меня домой на зиму, кто-то давал имя — Барсик, Серый, Дед, Профессор, — и я откликался, потому что какая разница, как тебя зовут люди, которые всё равно тебя не слышат.

Я искал. Я обещал — и искал. Я подходил к людям на улицах, в парках, в метро, заглядывал в глаза, звал тем самым голосом: «Мур-р... слышишь? Мрр... ты меня слышишь?» — и они улыбались, гладили, говорили «какой лохматый» и шли дальше. Глухие. Все глухие.

Я начал думать, что Надежда ошиблась. Что кровь кончилась. Что я последний, кто помнит, — и умру, если вообще умру, вместе со всем, что помню. С кривой сосной на Заячьем острове. С белой сиренью под окнами. С ножом над моей корзинкой в январе сорок второго.

А потом, осенью две тысячи двадцать шестого года, на углу канала Грибоедова, под фонарём, ветер донёс до меня запах.

Сдоба. Молоко. Тепло.

Глава 1. Девушка подфонарём

Петербург, октябрь 2026 года

У каждого кота в этом городе есть своё место. У меня их было много — за тридцать три года бродяжничества волей-неволей обзаводишься адресами, как старый холостяк обзаводится знакомыми буфетчицами. Тёплая решётка у «Сенной». Подвал на Гороховой, где котельная гудит всю зиму и пахнет мазутом и сухим кирпичом. Чердак на Казанской, куда можно попасть через выбитое слуховое окно, если не бояться пройти по водосточному жёлобу над пустотой в пять этажей. Скамейка во дворе на Мещанской, где каждый вечер в семь сидит старик в синем берете и крошит голубям батон — а мне, за то, что я не гоняю его голубей, кусочек докторской колбасы.

Но больше всего я любил канал Грибоедова.

Не за красоту, хотя он красив — кривой, ленивый, весь в мостах, как старая дама в брошках. Не за Казанский собор, хотя его колоннада обнимает площадь так, как обнимают только люди, которым нечего больше дать. Я любил его за то, что здесь меньше всего похоже на правду. Канал выётся, как будто его рыли без чертежа, по старому руслу речки Кривуши, — и его действительно так и рыли, я помню. Здесь город забывает, что он столица, и становится тем, чем был с самого начала: болотом, которое кто-то упрямо уговорил

стать камнем.

Этим кем-то, если уж говорить начистоту, был я.

* * *

В тот вечер шёл дождь.

Не настоящий ливень, а петербургская морось, которая не падает, а висит в воздухе, как взвесь в стакане мутной воды. Она оседает на шерсти мелкими каплями, и через полчаса ты весь серебряный и тяжёлый, и пахнешь мокрой собакой, хотя ты кот, и обидно до слёз.

Я сидел под чугунным мостиком у Банковского переулка — тем самым, с грифонами, у которых золотые крылья и вечно облупленные носы. Под мостом было сухо, если прижаться к граниту. Над головой шуршали шаги, звенели велосипеды доставщиков, кто-то смеялся, кто-то ругался по телефону на трёх языках. Туристы, даже в октябре. Город никогда не пустеет до конца.

Я был голоден. Не тем острым голодом, от которого сводит живот, — к такому привыкаешь за первые десять лет. А тем глухим, что живёт под рёбрами, ближе к сердцу. Голодом по голосу.

Я пробовал. Видит Бог, я пробовал. Первые годы — каждый день. Подходил к старушкам в парке, к студенткам на лавках, к мужчинам, которые курили у подъездов, и говорил — тихо, внятно, на чистом русском языке, разбавленном мурлыканьем, потому что иначе я не умею: «Мур-р... здравствуйте. Мурр... вы меня слышите?»

Они слышали «мяу». Самые добрые — «мяу» и протягивали руку. Самые злые — «мяу» и топали ногой.

Потом — реже. Раз в месяц. Потом — только когда пахло чем-то похожим. Иногда ветер приносил запах, от которого сердце подпрыгивало: лаванда, или старая пудра, или ладан, — и я бежал на него, как мальчишка, через три квартала, через дорогу, под колёсами, и находил бабушку с авоськой, которая пахла лавандой просто потому, что любила лаванду. И всё.

Кровь — не запах духов. Кровь пахнет иначе. Я это знал, а всё равно бежал.

* * *

Сколько мне лет, спросите вы?

Я и сам не знаю точно. Меня взяли котёнком в девяносто седьмом году — в тысяча шестьсот девяносто седьмом, разумеется. Голландия, Саардам, верфь на берегу реки Заан, запах дёгтя, свежей сосны и солёной селёдки, которую сушили прямо на причале. Я помню себя с той верфи, а не раньше: может быть, раньше у меня и не было никакой памяти, а может быть, она просто не нужна была котёнку, который думал только о молоке.

Хозяином моим был корабельный плотник по имени Геррит — краснолицый, огромный, с руками как лопаты и с голосом, которым можно было глушить рыбу. Я жил у него под верстаком в ящике из-под гвоздей. Он кормил меня селёдочными головами и звал «Poes», что по-голландски значит

просто «кошка», — и я не обижался, потому что не знал, что можно обижаться.

А потом на верфь пришёл новый работник.

Его невозможно было не заметить. Он был выше всех на голову — выше даже Геррита, — худой, длинноногий, в простой красной куртке и холщовых штанах, с круглым лицом, маленькими усами и глазами, которые всё время двигались. Он смотрел на всё сразу: на киль, на мачту, на то, как Геррит держит тесло, на чаек, на мой ящик. Он задавал тысячу вопросов на ломаном голландском с жутким акцентом и, не дослушав ответа, хватал инструмент и делал сам.

Звали его Питер. Плотник Питер Михайлов. Так он ска- зал.

Все на верфи знали, что никакой он не Михайлов. По Саардаму уже через неделю шёл шёпот: «Это московский царь. Сам царь, переодетый». Мальчишки бегали за ним по улицам, торговки тыкали пальцами, бургомистр приходил кланяться. А он злился, краснел, отмахивался и делал вид, что не понимает, о ком речь.

Я был единственным на верфи, кому было всё равно, царь он или нет.

И, может быть, поэтому он меня заметил.

* * *

Это случилось в обед. Плотники сидели на брёвнах, жевали хлеб с сыром и запивали пивом из глиняных кружек. Питер сидел отдельно — он вообще любил сидеть отдельно,

когда думал. А я вылез из своего ящика и, не знаю зачем, подошёл к нему. Сел у его огромного сапога. Посмотрел снизу вверх.

И сказал — первый раз в жизни, кажется, сказал что-то словами:

«Мрр... ты не плотник».

Он поперхнулся пивом.

Закашлялся так, что Геррит подбежал колотить его по спине. А Питер отмахнулся, вытер усы и уставился на меня. Долго. Не мигая. Потом наклонился — низко, к самому полу, — и спросил шёпотом, по-русски:

— Ты что сейчас сказал?

«Мур-р... ты не плотник, — повторил я. Сам удивился: оказывается, я понимаю его язык. Как будто всегда понимал. — Мрр... у тебя руки царские. Ты топором, мур, как скипетром машешь».

Он долго молчал. Потом расхохотался — громко, на всю верфь, так, что чайки снялись с причала. Плотники обернулись. Геррит покрутил пальцем у виска.

А Питер подхватил меня одной ладонью — я целиком поместился в ней, ещё и место осталось — и поднёс к лицу.

— Говорящий кот, — сказал он. — В Голландии. Ну, брат, ну Европа... — И вдруг стал серьёзным. — А другие тебя слышат?

«Мрр... нет, — сказал я. Откуда-то я это знал. — Только ты».

— Почему?

«Мур... не знаю».

Он подумал. Потом кивнул — коротко, по-деловому, как кивал всему, что было непонятно, но полезно.

— Значит, со мной поедешь. Хватит тебе селёдку жрать.

Он купил меня у Геррита за гульден. Геррит отдал не торгуясь — решил, наверное, что московский царь окончательно спятил, раз платит деньги за кошку с верфи. А Питер в тот же вечер, в своей тесной комнатке в доме кузнеца, где у него была кровать в шкафу — такие тогда были в Голландии, кровати в стенных нишах с дверцами, — сидел за столом при свече и выпиливал из медной пластинки ошейник.

Не ошейник даже — пластинку на кожаном ремешке. Выбивал на ней буквы тонким зубилом, высунув от усердия кончик языка, как мальчишка.

— Как тебя звать-то? — спросил он, не поднимая головы.

«Мрр... Геррит звал Рoes».

— Это не имя. Это слово. — Он задумался. Посмотрел на меня, свернувшегося на его камзоле. Я как раз мурлыкал — громко, на всю каморку, как маленькая мельница. — Мурлычешь как. Мур-мур. Мур. — Он хмыкнул. — Мур — и всё тут.

И выбил на пластинке: «МУРЪ».

Этой пластинки у меня давно нет. Её сняли в восемнадцатом году, в Екатеринбурге, — но об этом потом. А имя осталось. Триста тридцать лет — и всё то же имя.

Мур — и всё тут.

* * *

Под мостом у Банковского стало совсем сыро. Ветер переменялся и задувал морось прямо под арку. Я поджал лапы и подумал, что пора перебираться к котельной на Гороховой, пока окончательно не промок.

И тут ветер донёс запах.

Сначала я решил — показалось. Булочная за углом, там пекут до десяти. Но булочная пахнет иначе: дрожжами, ванилином, горелым сахаром. А это было другое.

Сдоба. Молоко. Тепло.

Так пахла Надежда. Не духами — она не любила духов, только капля лаванды на запястье по праздникам. Так пахли её руки, когда она гладила меня по голове перед сном. Так пахнет ребёнок, который только что проснулся. Так пахнет хлеб, который ещё не остыл. Так пахнет дом.

Так пахла кровь, которую я искал тридцать три года.

Я вылез из-под моста.

* * *

Она стояла под фонарём на набережной, у самого парапета, и пыталась одновременно держать над головой сломанный зонт, разговаривать по телефону и не уронить огромный пакет, из которого торчали рулоны ткани.

Получалось плохо.

Зонт выгнуло ветром наизнанку, одна спица торчала, как перебитое крыло. Пакет съезжал с плеча. Телефон, зажатый

между ухом и плечом, говорил что-то сердитое мужским голосом.

— Да, Виктор Палыч... Да, я понимаю... Нет, я не забыла... В пятницу. Я помню, что в пятницу... — Она перехватила пакет, и рулон серой шерсти чуть не нырнул в лужу. — Виктор Палыч, я заплачу. Я же всегда плачу... Ну задерживала один раз, в августе, так я же объяснила — заказчица не забрала... Да. Да. До свидания.

Она сунула телефон в карман, и плечи её опустились.

Я смотрел на неё из темноты, от гранитной тумбы.

Молодая. Лет двадцать семь, двадцать восемь. Невысокая, тоненькая, в старом сером пальто, которое было ей великовато в плечах — явно с чужого плеча, а может, когда-то куплено «на вырост» и так и не доросло. Светло-русые волосы, собранные на затылке в небрежный узел, из которого выбивались мокрые пряди. Бледное лицо, острый подбородок, тёмные от усталости круги под глазами.

И глаза.

Серо-голубые. Светлые, как невская вода в ясный день. С тем особенным разрезом — чуть приподнятые внешние уголки, чуть тяжеловатые веки, — который я видел столько раз, что узнал бы в темноте, в толпе, через сто лет.

Я видел эти глаза у Петра, когда он смеялся. У Елизаветы, когда она плакала над убитым оленем на охоте. У Анастасии, когда она, восьмилетняя, пыталась удержать меня на руках и не уронить. У Надежды, когда она, девяностолетняя, смот-

рела в окно на Фонтанку и вспоминала что-то, о чём никогда не говорила вслух.

У меня задрожали усы.

* * *

Девушка тем временем пыталась сложить зонт. Зонт не складывался. Она дёрнула его, потом ещё раз, потом сказала сквозь зубы такое слово, которое при Елизавете Петровне стоило бы фрейлине месяца ссылки в деревню, — и засмеялась сама над собой. Коротко, устало, но засмеялась.

— Ну и ладно, — сказала она зонту. — Ну и мокни. Мне-то что.

Она сунула его, растопыренный, под мышку, поправила пакет и собралась уже идти — к Невскому, к метро, наверное, — как вдруг заметила меня.

Я сидел у тумбы. Мокрый, тощий, серый с рыжими подпалинами на боках. За тридцать три года я, честно говоря, сильно сдал. Шерсть свалялась, на левом ухе — надорванный край, память о драке с одним хамом из Апраксина двора в девяносто девятом. Усы — половина сломана. Хвост — когда-то пушистый, как у Надеждиных пуховых шалей, — теперь висел мокрой верёвкой.

Не красавец. Совсем не красавец.

Но у меня было правило. Я никогда не подхожу первым. Подходил когда-то, в первые годы, — и каждый раз было больно. Глухота ранит сильнее, чем пинок: пинок забывается к вечеру. Поэтому я сидел и ждал: если человек хочет —

подойдёт сам.

Она смотрела на меня. Я — на неё.

И я нарушил своё правило.

Встал. Пошёл. Не быстро — с достоинством, насколько это возможно с мокрым хвостом. Обошёл лужу. Подошёл к ней и сел у её ног — у её стоптанных ботинок, в которые, судя по всему, тоже уже натекло.

И посмотрел вверх.

* * *

— Ой, — сказала она.

И присела на корточки. Прямо так, с пакетом, с растопыренным зонтом, на мокрый асфальт. Пакет сполз на землю, она не заметила.

— Ты чей, а? — спросила она. — Потерялся?

Голос у неё был низкий для такой маленькой, с хрипотцой — простуженный, наверное, или просто уставший за день. Обычный голос. Не дворцовый. С питерской растяжкой на «а» и проглоченными окончаниями.

Но я услышал в нём другое.

Я услышал в нём Надеждино «Мурушка, иди сюда». Я услышал Анастасиино «Мур, Мур, ну где ты, противный». Я услышал Елизаветино «Котик мой, котик», шёпотом, в темноте, на краю кровати, когда ей было страшно. Я услышал Петрово «Ну, брат», когда он, усталый, приходил с верфи и бросал на лавку шляпу.

Я услышал кровь.

Она протянула руку. Медленно, ладонью вниз, давая мне понюхать, — как делают люди, которые понимают в кошках. Пальцы тонкие, с короткими ногтями без лака, на подушечках — мелкие точки от иголок, на среднем — твёрдая мозоль от напёрстка. Пахли они нитками, машинным маслом, мелом, мокрой шерстью. И под всем этим — сдобой, молоком и теплом.

Я понюхал. Потом ткнулся в её ладонь лбом. Сильно, как тыкаются только в своих.

— Ох ты ж, — сказала она тихо. — Ласковый какой.

Она почесала меня за ухом — за здоровым, правым, будто знала, — и я замурлыкал. Громко. Так громко, как не мурлыкал тридцать три года. Как маленькая мельница в каморке кузнеца в Саардаме.

И я сказал:

«Мрр... здравствуй».

Она не вздрогнула. Не уставилась на меня. Не засмеялась.

Она продолжала чесать меня за ухом и смотрела куда-то сквозь меня, на тёмную воду канала, и лицо у неё было такое, будто она к чему-то прислушивается — к далёкой музыке, к шагам за стеной. Будто кто-то тихо-тихо позвал её по имени, а она не уверена, что ей не показалось.

Не услышала. Ещё не услышала.

Но и не оглохла.

Я знал этот взгляд. Так смотрела маленькая Анастасия в первые дни, когда я только появился в Александровском

дворце, — растерянно, чуть нахмутив брови: «Мама, мне кажется, кот что-то говорит». И императрица Александра Фёдоровна отвечала по-английски: «Darling, cats don't talk», — а через месяц Анастасия уже болтала со мной часами, забравшись под стол в классной комнате.

Слух приходит не сразу. Слух — как глаза у котёнка. Сначала только свет, потом тени, потом — всё.

* * *

— Ты весьмокрый, — сказала она. — И тощий. Ты чего тощий такой? Тебя не кормят?

«Мур-р... никто, — сказал я. — Мрр... давно никто».

— Не кормят, — кивнула она сама себе, будто слышала ответ. — Вижу, что не кормят. Рёбра торчат, как у стиральной доски.

Она подняла голову и огляделась. По набережной шли люди — под зонтами, в капюшонах, не глядя по сторонам. Дождь усиливался. Фонарь над нами мигнул и загудел.

— Ну и что мне с тобой делать? — спросила она вслух — не у меня, у себя. — У меня ни денег, ни места. Зинаида Павловна убьёт. Скажет — блохи, глисты, лишай. Виктор Палыч с пятницей. Ткань вон в луже уже...

Она подняла пакет, отряхнула его. Подумала.

Я сидел и ждал.

Это было самое страшное ожидание в моей жизни. Страшнее, чем ждать Петра под Нарвой, когда он ушёл к войскам и три дня не возвращался. Страшнее, чем ждать

Елизавету в ночь переворота, когда она уехала в Преображенские казармы в кирасе поверх платья. Страшнее, чем сидеть в подвале Ипатьевского дома и слушать, как наверху ходят чужие сапоги.

Потому что там я знал, чего жду. А здесь ждал, решит ли одна усталая девушка с мокрым зонтом взять кота, который ей совсем не нужен.

Я не стал её уговаривать. Можно было — потереться о ноги, жалобно мяукнуть, сделать большие глаза. Коты умеют. С кровью Романовых нельзя хитрить. Они всё равно всегда понимают, когда ими пытаются вертеть, — и никогда этого не прощают. Я знал это по Петру. По Екатерине — та была не Романова по крови, но научилась у них лучше всех.

Я просто сидел и смотрел.

* * *

Она вздохнула.

Длинно, прерывисто — так вздыхают, когда спорят сами с собой и проигрывают.

— Ладно, — сказала она. — Одну ночь. Одну. Обсохнешь, поешь — и завтра решим. Может, у тебя хозяева есть. Может, ты чипированный. Объявление повешу...

Она расстегнула пальто — верхние две пуговицы. Под пальто был толстый вязаный свитер, крупной вязки, цвета овсянки.

— Иди сюда, — сказала она. — Только не царапайся. Свитер жалко, сама вязала.

И взяла меня на руки.

Осторожно — одной рукой под живот, другой под задние лапы, — как берут кошек люди, которые с детства знают, как их брать. И сунула под пальто. Прижала к свитеру. Застегнула пуговицу над моей головой, так что снаружи осталась только морда, и сверху — её подбородок.

Свитер колот нос. Пахло овечьей шерстью, мокрым драпом и — ею.

Сдоба. Молоко. Тепло.

Я закрыл глаза.

И впервые за тридцать три года почувствовал, что больше не надо никуда бежать.

* * *

Она шла быстро. Через Банковский мостик, где грифоны с облупленными носами смотрели нам вслед. По Банковскому переулку, мимо тёмных окон. На Садовую, к метро. Пакет бил её по бедру, сломанный зонт она так и несла под мышкой — выбросить, видно, рука не поднималась. Вещи не выбрасывают, когда их мало.

Я слышал, как бьётся её сердце. Быстро, чуть неровно — она устала, она замёрзла, она поднималась по ступенькам у Гостиного двора, и ей было тяжело. Но сердце было хорошее. Крепкое. Упрямое.

Такое было у Петра. Он мог не спать три ночи, а потом махать топором на верфи до вечера, и сердце у него стучало ровно и сильно, как корабельный насос.

— Тебя в метро не пустят, — сказала она мне шёпотом, остановившись у входа в «Гостиный двор». — Животных без переноски нельзя. Так что сиди тихо. Ты шарф. Понял? Ты — шарф. Серый шарф.

«Мур-р... я шарф», — согласился я.

Она хихикнула — нервно — и спустилась в метро.

* * *

Я не ездил в метро много лет. Последний раз — с Надеждой, году в восемьдесят пятом, в её большой плетёной сумке, к ветеринару на Васильевский. Тогда вагоны были голубые, с деревянными лавками, и пахло в них креозотом и мокрыми пальто.

Сейчас вагоны были другие. Блестящие, светлые, с экранами, на которых крутили рекламу кредитов и мультики про безопасность. Люди сидели, уткнувшись в телефоны — в маленькие светящиеся окошки, которые они держали в ладонях, как держали когда-то молитвенники. Никто ни с кем не говорил.

А пахло — всё так же. Мокрыми пальто.

Девушка стояла у дверей, держась за поручень, и я сидел у неё за пазухой, высунув морду, и смотрел на своё отражение в чёрном стекле. Серая морда над серым воротником. Шарф с ушами.

Напротив сидела девочка лет шести, с мамой. Девочка смотрела на меня не отрываясь. Потом дёрнула маму за рукав:

— Мам. Мам! У тёти шарф живой.

Мама, не отрываясь от телефона, сказала:

— Не выдумывай.

Девочка посмотрела на меня обиженно. Я ей подмигнул. Она открыла рот — и так и ехала до «Площади Восстания», с открытым ртом.

Девушка, которая меня несла, всё видела в стекле. Плечи её тряслись — она старалась не смеяться.

— Шарф, — прошептала она мне в ухо. — Ты шарф. Шарфы не подмигивают.

«Мпр... этот — подмигивает», — сказал я.

И опять почувствовал, как она замерла на секунду — прислушиваясь. Как будто что-то коснулось её края слуха и ускользнуло.

* * *

На «Площади Восстания» мы вышли.

Наверху был Невский — огромный, мокрый, весь в огнях, гудящий машинами, — и Московский вокзал с часами на башне. Часы показывали без двадцати одиннадцать.

Девушка свернула на Лиговский.

Лиговский проспект я знал. Я знал его ещё тогда, когда он был не проспектом, а каналом — Лиговским, водоводом, по которому вода с Дудергофских высот шла в фонтаны Летнего сада. Его рыли при Петре, в семнадцатых годах. Пётр стоял над рабочими и ругался, что копают криво. Я сидел у него на плече и думал, что копают, по-моему, нормально, но

не спорил.

Потом канал засыпали. Сделали проспект. Дома выросли — доходные, серые, тяжёлые, с дворами-колодцами, в которых не бывает солнца. Лиговка стала самой неблагополучной улицей города: здесь были ночлежки, кабаки, притоны, «лиговская шпана», о которой при Николае Втором писали в газетах. Анастасия однажды, году в четырнадцатом, проезжала здесь в автомобиле с сёстрами и спросила у гувернантки, почему здесь такие грустные дома. Гувернантка ответила: «Здесь живут бедные люди, ваше высочество». Анастасия долго молчала, а потом сказала мне на ухо: «Мур, а давай, когда я вырасту, я тут построю большой дом. Для всех. С садом».

Не построила.

Лиговка и сейчас была не самая весёлая улица. Но — живая. Шаверма на углу, круглосуточный магазин с мигающей вывеской, бар, из которого гремела музыка. Подворотни. Арки. Мокрые машины во дворах.

Девушка свернула в одну из арок.

* * *

Двор был колодцем. Я посмотрел вверх — высоко-высоко, над шестью этажами жёлтой облупленной стены, висел мутный квадрат неба. Дождь падал в этот квадрат, как в воронку. Под ногами — асфальт с лужами, мусорные баки, ржавые качели, на которых никто не качался лет двадцать. На стене — граффити: кот. Нарисованный кот, огромный, рыжий, с

хитрой мордой.

Я посчитал это хорошим знаком.

— Вот, — сказала девушка, остановившись у обшарпанной двери парадной. — Здесь я живу. Не дворец, извини. Коммуналка. Пять комнат, восемь человек, одна ванная. Зато центр.

Она набрала код на домофоне — кнопки были стёрты до блеска, некоторые цифры уже не читались.

«Мрр... — сказал я. — Мне доводилось жить и в худших местах».

Это была правда. Однажды я полгода жил в трюме шведского трофейного корабля, с крысами размером с собаку. Однажды — в окопе под Полтавой. Однажды — три месяца по подвалам на Фонтанке, зимой сорок второго, охотясь на крыс, когда в квартире уже не было ни дров, ни мебели, что-бы жечь, — и Надежда, сама еле живая, спускалась ко мне с кружкой кипятка, потому что больше ничего не было.

После этого — коммуналка на Лиговском? Да это почти Зимний дворец.

Дверь пискнула и открылась.

* * *

Лестница была узкой, крутой, с выщербленными ступенями. Пахло кошками — чужими, — капустой, сыростью и чьими-то дешёвыми сигаретами. На площадке второго этажа стояла старая детская коляска без колёс. На третьем — велосипед, пристёгнутый замком к батарее. На четвёртом девуш-

ка остановилась, тяжело дыша, и полезла в карман за ключом.

Дверь в квартиру была высокая, двустворчатая, когда-то, наверное, красивая — с филёнками, с бронзовой ручкой. Сейчас она была выкрашена в грязно-коричневый цвет, и сбоку на ней висели в столбик пять звонков с бумажными табличками: «Петровы — 1», «Зинаида Павловна — 2», «Ахмедов — 3», «Соня — 2 длинных», «Не звонить! Стучать!».

Последнее, видимо, было приколото кем-то, кто работал по ночам.

Девушка повернула ключ — тихо, медленно, чтобы не скрипнул, — и приоткрыла дверь.

В коридоре было темно. Длинный, бесконечный коммунальный коридор — с вешалками, с сундуками, с велосипедом на стене, с тусклой лампочкой где-то в самом конце. Пахло жареной рыбой, хлоркой и чем-то сладким — компотом, кажется.

Девушка сняла ботинки на пороге и на цыпочках, в мокрых носках, пошла по коридору.

Где-то справа скрипнула дверь.

Девушка замерла.

Я тоже.

Тишина. Только капала вода из крана где-то на кухне. И где-то — тикали часы.

— Пронесло, — выдохнула она мне в ухо и пошла дальше.

* * *

Её комната была в самом конце, у кухни.

Маленькая — метров двенадцать, не больше. Одно окно — высокое, старинное, с широким подоконником, — во двор. Узкая кровать, застеленная клетчатым пледом. Шкаф, такой старый, что двери закрывались только если подпереть их сложенной бумажкой. Стол у окна — и на нём, под чехлом, швейная машинка. Рядом вторая — оверлок, кажется, хотя я тогда не знал этого слова. Манекен в углу, безголовый, в недошитом платье, утыканном булавками, похожем на ежа. Полки до потолка — с тканями, с коробками, с журналами, с катушками ниток всех цветов, рассортированными по оттенкам, как радуга.

И везде — нитки. На полу, на кровати, на подоконнике. Обрезки ткани. Булавки. Мел. Сантиметровая лента, свисающая со спинки стула, как змея.

Пахло здесь — ею. Сдобой, молоком, теплом. И ещё нитками, утюгом, крахмалом.

Я вылез из-под её пальто на пол и огляделся.

Это была комната человека, который не живёт — работает. Ничего лишнего, ничего для красоты. Только одна вещь стояла на подоконнике — не для работы.

Фотография в простой деревянной рамке. Мужчина лет пятидесяти — худой, сутулый, в старом свитере, с добрым усталым лицом, в очках. Он стоял у какого-то верстака и держал в руках что-то — не разглядеть. Рядом — маленькая де-

вочка лет семи, с косичками, в школьной форме, и она смеялась, задрав голову.

У мужчины на фотографии были те же глаза. Серо-голубые, с приподнятыми уголками.

* * *

— Это папа, — сказала девушка, проследив мой взгляд. — Лев Николаевич. Как Толстой. Над ним все смеялись в школе.

Она стянула мокрое пальто, повесила его на крючок за дверью и села на кровать. Устало, сразу вся, как садятся люди, которые весь день простояли на ногах.

— Он часовщик был, — сказала она. — Часы чинил. На Садовой мастерская была, маленькая, в подвале. Как у меня сейчас. — Она усмехнулась. — Яблочко от яблоньки. Подвалы — это у нас семейное.

«Мрр... был?» — спросил я.

Она помолчала. Не потому, что услышала. Просто — помолчала.

— Три года назад, — сказала она. — Сердце. Утром ушёл в мастерскую, а вечером не вернулся. Нашли за верстаком. Лупа в глазу, часы в руке. Разобранные. Он их так и не собрал.

Она взяла фотографию с подоконника. Посмотрела. Поставила обратно.

— Мама давно ушла. Ещё когда мне три было. Уехала куда-то — я даже не знаю куда. Папа меня один растил. Ко-

сички заплетал. Кривые, ужасные. Все девочки смеялись. — Она улыбнулась. — Зато платья мне шил сам. Он всё умел руками. Часы, табуретки, платья. Говорил: «Руки, Сонька, — это единственное, что у человека нельзя отнять».

Соня.

Я повторил про себя.

Соня. Софья.

Хорошее имя. Царское. Была у Петра сестра Софья — правительница, умная, злая, властная, которую он потом заточил за бунт в Новодевичий монастырь. Пётр ненавидел её всю жизнь и всю жизнь у неё учился. Но эта Софья была другая. Совсем другая.

Хотя — упрямство в подбородке то же самое.

* * *

Она посидела ещё немного, глядя в стену. Потом встряхнулась, как собака после купания.

— Так. Хватит ныть. Ты голодный. Я голодная. Сейчас что-нибудь придумаем.

Она открыла маленький холодильник, стоявший под столом, — такой маленький, что я сначала принял его за тумбочку, — и долго в него смотрела. Вздохнула.

— Пусто, — сообщила она. — Ну, почти. Есть полпачки масла, два яйца, кефир просроченный и банка кильки в томате. Килька — тебе? Котам можно кильку? Там соль, наверное. И томат.

«Мрр... можно, — сказал я с чувством. — Мур-р... всё

можно».

Тридцать три года я ел то, что находил. Рыбьи хвосты с рынка. Сосиски, которые бросали мне сердобольные студенты. Обьедки из мусорных баков у ресторанов — иногда очень даже приличные, ресторан «Палкин» на Невском, например, выбрасывает вполне съедобную осетрину. Но это была не еда. Это была добыча.

А килька в томате, которую тебе дают в тарелке, — это еда.

Она открыла банку — консервный нож был старый, советский, с деревянной ручкой, — вывалила половину кильки в блюдечко с отбитым краем и поставила на пол.

— Приятного аппетита, — сказала она. — Извини, что не фуа-гра.

Я ел.

Я не ел так со времён Надежды. Не потому, что килька была вкусной, — хотя она была вкусной, солёной, острой, с этим кисловатым жестяным привкусом советского детства, которого у меня не было. А потому, что пока я ел, она сидела на кровати и смотрела на меня. Просто смотрела. С улыбкой.

Надежда тоже так смотрела. Каждый вечер, сорок с лишним лет. Садилась в своё кресло у печки, ставила передо мной блюдо и смотрела, как я ем. Говорила: «Ешь, Мурушка. Ешь. Мне нравится смотреть, как ты ешь. Это значит — всё хорошо. Пока кто-то ест в доме — всё хорошо».

После блокады она так говорила. До блокады — не помню,

чтобы говорила.

* * *

Потом Соня ела сама. Вторую половину кильки — прямо из банки, вилкой, с куском чёрного хлеба, который нашёл-ся в хлебнице. Запивала чаем из большой кружки с отбитой ручкой. Сидела на кровати, поджав ноги, и смотрела в окно, на тёмный двор, на мокрую стену напротив.

Я запрыгнул к ней на кровать. Без спросу — но я знал, что можно. Сел рядом. Потом лёг. Потом положил голову ей на колено.

Она погладила меня. Рассеянно, не глядя, как гладят кошек люди, которые думают о другом.

— Знаешь, — сказала она, — я сегодня почти решила всё бросить.

Я поднял голову.

— Мастерскую. Ателье это моё дурацкое. Подвал. — Она смотрела в окно. — Аренда двадцать две тысячи. В пятницу платить. У меня — одиннадцать. Заказов нет. Вернее, есть — подшить брюки, ушить юбку, молнию поменять. По две-сти, по триста рублей. А я ведь не за этим... — Она замолчала. — Я платья хочу шить. Настоящие. Красивые. Свои. У меня эскизы — вон, целая папка. Я с четырнадцати лет рисую. Я в колледже лучшая была. Мне преподавательница говорила: «Лаврова, у тебя руки золотые и вкус от бога, тебе в Париж надо». — Она фыркнула. — В Париж. Я до Купчи-но доехать не могу, у меня на проездной не хватает.

Лаврова.

Я не вздрогнул. Коты не вздрагивают — мы для этого слишком хорошо воспитаны. Но что-то во мне сжалось.

Лаврова.

Я знал одну Лаврову. Очень давно. Груню Лаврову, Аграфену, — маленькую, рыжеватую, веснушчатую, с иголкой за ухом и с самыми ловкими пальцами во всём Аничковом дворце. Она шила для императрицы Марии Фёдоровны. Она пахла крахмалом и свежим хлебом, который пекла сама по субботам.

Сдобой. Молоком. Теплом.

Нет. Не сейчас. Слишком рано. Я тридцать три года ждал — подожду ещё.

* * *

— Сегодня, — продолжала она, — я весь день сидела в мастерской. Пришла одна женщина — забрала свои брюки, двести рублей. И всё. Больше никого. Я сидела и думала: может, хватит? Может, пойти в «Зару» продавцом? Или на фабрику, швей-мотористкой — там хоть зарплата. Стабильная. Сорок тысяч. — Она покачала головой. — Папа бы расстроился. Он говорил: «Сонька, своё дело — это свобода. Пусть маленькое, пусть в подвале. Но своё». Он всю жизнь в своём подвале сидел. И был счастлив. Ну — мне так казалось.

Она замолчала.

— А потом я ехала домой, — сказала она, — шла по каналу. И думала: вот если сейчас что-то случится. Хоть что-

нибудь. Знак какой-нибудь. Тогда не брошу. А если нет — завтра пойду в «Зару» и напишу заявление.

Она посмотрела на меня.

Я смотрел на неё.

— И тут ты, — сказала она. И засмеялась — тихо, удивлённо. — Это ты, что ли, знак? Мокрый тощий кот с рваным ухом?

«Мур-р... — сказал я. — Мрр... я, Софья. Я — знак».

Она перестала смеяться. Смотрела на меня, чуть нахмурив брови, и я видел, как в глубине её глаз, на самом дне, что-то шевельнулось. Будто рыба плеснула в тёмной воде.

— Странно, — сказала она тихо. — Мне на секунду показалось...

Она не договорила.

Потрясла головой. Отставила кружку.

— Устала я, — сказала она. — Глючит уже. Всё, спать.

* * *

Она погасила свет. Разделась в темноте, натянула старую футболку с выцветшей надписью «Петербургский колледж технологии и дизайна — выпуск 2018» и забралась под плед.

Я лежал в ногах. Как лежал у Надежды. Как лежал у Анастасии в Царском Селе, на узкой походной кровати — у великих княжон были походные кровати, железные, без матрасов почти, так их воспитывал отец, по-спартански. Как лежал у Елизаветы на огромной перине под балдахином, расшитым золотыми пчёлами. Как лежал у Петра на его жёстком топ-

чане в домике на Петербургской стороне, где потолки были такие низкие, что он не мог выпрямиться, и ему это нравилось, потому что он, как и я, любил тесные тёплые места.

— Ты где? — спросила она из темноты. Сонно.

«Мрр... здесь».

Она нащупала меня ногой через плед. Успокоилась.

— Завтра, — пробормотала она, — к ветеринару. Прививки. Глисты. Блохи. И Зинаиде Павловне... как-то объяснить... — Она зевнула. — Как тебя звать-то хоть?

Я подумал.

Можно было бы промолчать. Подождать, пока она сама услышит. Пока придумает мне какое-нибудь новое имя — Барсик, Серый, Дымок, — и откликаться на него, как я откликался тридцать три года.

Но я не хотел нового имени.

Я хотел своё.

«Мур, — сказал я. — Мур-р... меня зовут Мур. Мур — и всё тут».

Тишина.

Долгая.

Потом

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.